

Проза

В. Евсеев

## Многоголосие мира

Василий БЕЛОВ

Кануны. Хроника конца 20-х годов

Часть третья. «Новый мир», 1987, № 8

Публикация романа «Кануны» началась пятнадцать лет назад, но красочный, многозвучный мир «хроники» продолжается. Населенный не одним десятком персонажей, он создан как бы по неписаным законам народной хоровой песни, где одни голоса выступают ведущими, другие — вторыми или третьими, но каждый голос слышен, угадываем, — разноголосая стихия никого не подавляет, но всякому отводит достойное место.

Такое стройное хоровое звучание «Канунов» внушает и боязнь: как бы его не разрушить, не перетолковать иначе. Тем более нельзя говорить о третьей части романа вне связи с первыми двумя.

Вспомним эпический зачин романа: «Кривой Носопырь лежал на боку, и широкие, словно вешнее половодье, сны окружали его. Во снах он снова думал свои вольные думы. Слушал себя и дивился: долог, многочислен мир, по обе стороны, по ту и по эту.

Ну, а та сторона... Которая, где она?

Носопырь, как ни старался, не мог углядеть никакой другой стороны. Белый свет был всего один, один-разъединственный. Только уж больно велик. Мир ширился, рос, убегал во все стороны, во все бока, и чем дальше, тем шибче...»

Здесь человек обнаруживает себя в важнейшей для него связях с миром, здесь — его мироощущение, «вселенский» и одновременно такой приземленный строй мышления. «Срисовывает» Носопырь «бога», но почему-то у того «мозольные персты», и похож он на «старика Петрушу Ключина, хлебающего после бани тяпушку из толкна». Мир стоит на прочных опорах, человек не задает себе последнего вопроса: «Как жить и на что опереться?»

Мысль Белова не спрятана, но и не лежит на поверхности, она органично растворена в художественной плоти произведения. Поэтому и само слово «мир» в художественной структуре романа обретает глубинное значение: тут «мир» как вселенная, объединяющая все живое в пространстве и времени; «мир» как понятная и близкая земля, обильно политая трудовым потом и слезами; «мир» как «крестьянская вселенная» (Белов), общинный уклад; как семейный мир; наконец, как самое главное, — отсутствие вражды человека с окружающим его миром людей и природы.

Но вернемся еще раз к началу романа. «Носопырь искал в душе почтение к тайнам. Опять срисовывал он богово, на белых конях, воинство... то старался представить шумную ораву нечистого, этих прохвостов с красными ртами, прискакивающих на вонючих копытах.

И те и другие постоянно стремились в сражения. Было в этом что-то пустоголовое, ненастоящее, и Носопырь мысленно плевался на тех и на этих».

Действительно, если бы не было этой жажды мира, этого единения человека с миром, с белым светом, как бы он ни был беспределен в пространстве и времени, человек давно бы пропал. Вот и председатель сельсовета Микулин в беловских «Канунах» радуется «просто масленице и всему белому свету»: не погибла еще в его душе радость общения с окружающим миром, потребность в человеческой открытости перед ним. А Павел Пачин? Его мельница обязательно должна «махать широкими крыльями. Над всей Шибанихой. Над всем белым светом»; для него «там, на угоре, клином сошелся белый свет. Сошлась и сгрудилась вся земля».

В эпическом романном зачине выразилась и вся мера авторского доверия к миру, к многообразию и многоцветности жизни, в которой каждый голос, и человека, и природы, имеет право на существование, ибо без этих голосов мир не полон, не широк, не многочислен (слово «голос» по частоте использования в романе стоит, пожалуй, на втором месте после слова «мир»).

В «Канунах» иной мир, чем, к примеру, в романе Федора Панферова «Бруски» (1928—1937). Панферовские крестьяне могут три тысячи, «завернутые столбиками», несколько лет за пазухой таскать! То и дело слышится грозное предупреждение: «Только поддайся — мужик тебя с кишками слопают»; «мужик собственник: за ведро воды глотку другому перервет». И апофеоз в описании темных сторон крестьянской души — реплика по поводу деда Максима Плакушева: «Тот, покойник, бывало, до ветру пойдет — сядет и глядит: нельзя ли это добро обратно в квашню». Недоверие рождает гиперболу — у страха глаза велики. Дед, ясно, старорежимный. А где же тот середняк, который защищал Советскую власть, десять лет трудился при ней? Это Кирилл Ждаркин. Но и он, возвращаясь в Бруски, «припадет к земле. Верно, он это делает украдкой. Еще бы и теперь выполнять заветы стариков!». Ему-то и пеняет один из героев романа: «В тебе... большой еще мужик сидит. Землицу любишь, как хорошую бабу. А вот придет время, когда человек не будет мечтать о земле, как не мечтает теперь о лучине: есть электричество».

Что говорить, есть разница между лучиной и электролампочкой. Но главное: пришло, наступило уже то время, когда человек не мечтает о земле, и нас не волнует вопрос: «Много ли человеку земли нужно?» А мы этому не радуемся... мы осознали, что одна сторона медали — общегуманистический пафос, а другая — реальный исторический контекст времени, в котором причины и следствия отстоят друг от друга на десятилетия.

В романе «Кануны», буквально с первых страниц, развивается неостановимая стихия крестьянской жизни. «Гулянье ширилось и росло, в проулках и улицах стоял сплошной стонущий гул, и уже нельзя было разобрать отдельные голоса»; «все это сливалось в один сплошной, словно всесветлый гул». Трудовая и праздничная разноголосица открывается святочной неделей, автор выделяет это событие: «Шла вторая неделя святков, святков нового тысяча девятьсот двадцать восьмого года». Река жизни разливается так широко, что автор, кажется, не может охватить ее взором, да и не стремится: «Так шла жизнь в Шибанихе в эту святочную морозную ночь, но это была не вся жизнь. Главная жизнь началась на игрище...» Можно вместе с Нечавыным перебежать из одного деревенского дома в другой, узнать,

что говорят там, заглянуть в сельсовет к Микуленку, подслушать думы дедки Никиты, поспешить на игрище, но... нет, всего не охватить... Как будто ярмарочное гоголевское раздолье, человеческий гул, пестрая, карнавално хохочущая, веселящаяся толпа выплеснулись в художественный мир беловского романа.

Автор «Канунов», думается, осознанно начинает роман святочной неделей: святочные игры, гаданье, ряженье — все это работает на идейно-художественную концепцию произведения. «В карнавальном мире отменена всякая иерархия» (М. Бахтин). Ряженье — как карнавальная игра, как драматизированное воплощение народных взглядов, разумеется и идеально-утопических, — уравнивает включенных в это действо людей независимо от их классовой, социальной и сословной принадлежности, независимо от разных — в пределах одной социальной среды — взглядов на мир. Многоголосие, множество перекрещивающихся голосов, взглядов, мнений, оценок на фоне драматизированных обрядов и празднеств воспринимаются как равнозначно звучащие, одинаково имеющие право на существование: их «неравноценность» может выявить лишь стихия народной жизни, само жизнетворчество народа. Равноправие святочной игры, праздничной «сутолоки» (помните у Белова: «Пестрая сутолока иванова дня заволакивала Шибаниху»), не только оттеняет творческий, раскрепощенный характер народного сознания, но и призвано подчеркнуть современность в жизнетворчестве народных масс.

Вот одна из основных идей романа. Дальнейшее развитие конфликта дает возможность шире и глубже взглянуть на многие заявленные в начале коллизии, на героев. Например, на фигуру Сопронова. Желание выделиться из народной среды, стать над нею, неприятие глубинной сущности народной «игры», а шире — демократических начал народной жизни, создает двуликий образ отщепенца, претендующего на единственность и правильность своего пути как пути для всех.

«...Сообща-то мужикам и раньше бывало легче», — подает свой голос один из персонажей романа, чтобы затем продолжить: «...а когда земля у всех тепериче, так и сам бог велел сообща». Так формулируется хорошая сущность крестьянской трудовой жизни при социализме. Такому «хору» не нужен всеведущий и непогрешимый дирижер, он сам выдвигает из своей среды запевал, готовых к честному творческому состязанию. Вот и изображенную в романе свадьбу, эту, по словам Мамина-Сибиряка, «национальную оперу», венчает хорошая песня, запевать которую дано не тому, у кого мощна больше да голос громче, а тому, кто угадал сокровенное общее желание других и вывел его в чистом звуке и высоком слове. Состязайся, но от чрезмерного усердия не сорви голос. Не нужны и крикливые, вперед забегающие голоса, как, впрочем, и отстающие...

Беловские крестьяне считают: «Худой мир лучше доброй ссоры». В мире Шибанихи, Ольховичи тебя встречают с открытой душой. Если, понятно, и ты с открытой. Правда, могут ударить «колом по спине», но «это уже похоже на хорошую драку». Умеют трудиться («Ты за дело, а дело за тебя») и отдыхать. Но могут предостеречь: «В гостях надо бы как люди, а дома как хошь!» Предостеречь, пока чувствуют себя хозяевами этой жизни, этого мира, запевалями и равноправными участниками.

Писатель возвращает нас к той известной истине, которую мы слишком часто умудрялись прочно забыть: социализм не строится по указке сверху, он становится реальностью лишь тогда, когда принят и осуществляется миллионами, судьба которых должна складываться из потребностей творческого участия в строительстве новой жизни. А если кому-то взбредет в голову, что по мере продвижения к социализму, о котором мечтали эти миллионы, будет возрастать классовая борьба, то на практике это приведет к тому, что тысячи голосов будут отторгнуты от дела, в котором они жаждали участвовать, сообразуясь со своими возможностями...

«Данило век свой встает и ложится с солнышком, худым словом никого не обидел... За что Данила лишать голову?» — вопрошает Данило Пачин московского извозчика и получает ответ: «А по мне так лучше бы из всех списков меня вычистили да больше не трогали». Два голоса, две позиции. Одному нужно, «чтобы голос воротили и во все списки обратно внесли», другой готов смотреть на мир из своего подполья. Впрочем, есть и третий — поп Рыжко: «А мне своего голоса в Москве все одно не найти». Сказано это после того, как в застолье «поп-прогрессист» вместе с другими исполнил: «Что с попом, что с кулаком вся беседа, — в брюхо толстое штыком мироеда». Кузнец Гаврило Насонов жалуется мужикам: «...хуже некуда. Обложили налогом, как барина аль купца... И голосу не возвернули, пришел из Москвы отказ». Они еще не понимают, почему их голосам не дают влиться в тот хор жизни, который исполняет новую песню...

Кажется, что наступил для правдоискателя типа Константина Левина (на него так похож беловский персонаж — бывший помещик, «омужичившийся интеллигент», недавний красноармеец Прозоров) тот жизненно важный миг слияния с народной средой, приобщения к ее идеалам, миг «воскресения»: не отрицает его народная среда — крестьянская девушка не отказывает в доверии и любви Прозорову, как Марьяна Оленину в «Казаках». Но и он не «воскреснет» к новой жизни, которую уже принял, и его голос будет прерван, не задействован в громадном хоре народной жизни; сближение так и не состоялось на многотрудном и честном пути Прозорова к миру...

Белов изображает в романе, условно говоря, ситуацию прерванного многоголосия.

Находятся «дирижеры», которые хотели бы управлять «хором», не имея на это ни прав, ни таланта. Главное для них — выстроить певцов по ранжиру, авось песня зазвучит повеселей. А она не звучит... «Активист» Игнатий Сопронов в романе Белова напоминает, что отнюдь не каждая кухарка должна управлять государством, но каждая кухарка должна научиться управлять государством.

Этот тип доморощенного деятеля похож на панферовского Жаркова. Жарков, иронично подчеркивает Панферов, знания о деревне почерпнул из плакатов, поэто:у классовая борьба рисовалась ему таким образом: «с одной стороны, противник революции — кулак, с другой — защитник ее, бедняк. А середняк, жуя губы, стоит в стороне». Здесь писатели единодушны: накоплен уже десятилетний опыт социалистического хозяйствования на земле, а мысль жарковых и сопроновых все еще топчется на месте, застылая в стереотип, шаблон, лубок, крайне опасные для политика, но еще более — для судеб рядовых тружеников истории.

Белов не доказывает, он просто берет документ и органично вводит его в художественную ткань произведения — и становится ясно: не жевал крестьянин-середняк губы в конце 20-х годов, он давно уже не за страх, а за совесть работал на себя и Советскому властью.

Не нравятся шибановским мужикам сопроновская запись середняков в «зажиточные и кулаки» без их ведома и согласия, когда закрываются от них «двери на крюк»: «Ведь передеремся сплошь, перепазгаемся!» Не вызывает у них энтузиазма и сопроновский лозунг «Пришло время расстаться с проклятым прошлым», потому что содержание его представляет кашу, в которой перемешано все, — «проклятым прошлым» становится не только прошлое революционной России, но и десятилетие советской действительности с ее творческим освоением форм социалистической кооперации (и, как показывает Белов, — разнообразных форм!). На это требуется время. Сопроновым же нужен «колхоз к вечеру — как штык». Не устраивает шибановцев и «добровольно-принудительная» организация колхозов.

В романе старое и новое находятся в многоголосном сопревновании. Поп идет в сельсовет «жаловаться на оскорбление личности». У Гоголя и не мыслилось заткнуть в святочную ночь дымовую трубу епитрахилью, что в шутку

над шибановским попом сотворил весельчак и балагур Судейкин. С кое-каким прошлым можно расстаться и без надруга, со смехом. Старики шибановские рассуждают: «Бить стекла, хоть бы (выделено мной. — В. Е.) и в церкви, последнее дело. Подростков пороли за это испокон веку». И выпороти Сельку, который оказался «сельским активистом»! Старики думали, что выполняют благое мирское дело, а их — в амбар, под замок. А что старики? Они восприняли это не только как личное оскорбление, но как обиду «миру», в котором они, старики, со многими проблемами управлялись сами. Потому и воспринимали они изменения, ломающие хоровые начала их жизни, как наступление всемирного бедствия: «Дождь падал сплошной водяной стеной: он топил амбар, Ольховицу, весь мир, все и повсюду, казалось, было огнем, водою и грохотом». Универсальный принцип мироздания, вселенной, считает Белов, — принцип самоорганизации — действовал и в крестьянской жизни (отсюда беловское определение этой жизни — «крестьянская вселенная»), быстро обновляющейся, структурно изменяющейся, восходящей на качественно новый виток человеческого общежития. Но этот процесс роста разнообразия жизни (больше новых элементов — устойчивей система) был приостановлен, сведен к основной форме — уставному колхозу. Правильно ли это было?.. В конце второй части романа мы читаем: «То, что творилось в Шибанихе, было ни на что не похоже. Суматоха не суматоха, паника не паника, а какая-то сутолока, похожая на ту, которая бывала в масленицу либо на святках. Только все по-иному... Что-то большое и главное пошло вперекос».

Нет, в крестьянском мире «Канунов» живут не только работающие да честные мужики. Есть Гривенники, есть Жучки. Лодыри, прохвосты, властолюбцы. Есть нищие — от лени своей. Но основной объект изображения в «Канунах» — мирозерцание, взгляд на мир крестьянина-середняка. То есть представителя той части сельского населения, которая в конце 20-х годов составляла подавляющее большинство крестьянской массы. Взгляд, открывающий нам новое, неизвестное, придающий произведению глубоко народный характер. Но в этом взгляде Белов обнаруживает как положительные, так и негативные стороны.

Иллюстрацией к сказанному может служить зачин третьей части романа. Он как бы отсылает к началу «Канунов». Вплотную подступают события коллективизации, и мироощущение середняка изменилось: мир стал поворачиваться к человеку суровой, если не враждебной, стороной. Снова сны, но теперь не Есолопыря, а дедки Никиты Рогова. В тревожном сне «темнота давила со всех сторон», «беси» «окружили Никиту со всех сторон, сверху и снизу», и тогда ничего не осталось, как вопрошать своего «бога»: «чем послужил я жребий позорный мой?».

Нет, не все в этом мире устроено на гуманных началах. Окружают «беси» деда Никиту со всех сторон. «А он все ничего не делал и глядел спокойно, он все еще верил, что они исчезнут, ежели их не трогать... И он вновь удивлялся собственному терпению: «Что это я? Выгнать бы надо...» Однако ж словно нарочно себе самому он даже не сдвинулся с места. И тогда многие из них совсем обнагтели, стали подскакивать совсем близко и харкать в него, а он даже не вытирался и все дивился своему терпению: «Как это я? Ни рукой, ни ногой...» — ...голоса не было, сил крикнуть не было».

Этот сон охватывает и цементирует в одно целое события, изображенные в третьей части романа, многое объясняет в первой и второй.

Белый свет действительно один-разъединственный. Не там, на небесах, столкнулись «добро» и «зло» — боги и дьяволы существуют здесь, на земле. Народные представления о противоборстве добра и зла проецируются на образную систему романа «Кануны». Как только замышляет Сопронов очередное зло (в его понимании — «добро»), так подступает к нему «мерзкая тошнота», голова его разламывается от «неистойвой боли», в снах он ходит по «боль-

шой пустынной постройке» — «ищет себе места», но ему «нигде нет этого места», ибо это зло, которое сеет после себя пустыню, а не строит мельницы, не кормит «всю взбудораженную страну», но хотело бы, чтобы весь мир жил только «под знаком страха и силы».

Для дедки Никиты ясно: это они, Данило да Гаврило, тому виной, что сейчас творится на белом свете. У него своя, сермяжная правда, по которой «ты за дело, а дело за тебя». Но можно сказать иначе: «Раз жалуются, значит, дело идет». Идет ли? И по тому ли руслу?

Слово «жалость» — того же корня. Жалость, беззлобие, дружелюбие оборачиваются страшной силой против них же — шибановцев, ольховцев. Когда-то отец, стегая Павла крапивой за нищего Петьку Гирина, воспитывал: «Не обижай убогих, будь человеком!» И Сопронов Игнатий для Павла убогий — «жалко Сопронова». Исключают Сопронова из партии за головогтыпство, а Микулину «Сопронова было жаль... Игнаха хоть и послан уездом, но был свой, шибановский, к тому же он не числился пока ни на какой должности, жил бог знает на какие шши». И здесь же: «Где-то что-то было неладно». Да, если неладно, то «где-то, если жаль, то потому что «свой», к тому же не на «должности». Не ходить же ему за плугом! Вот и «беси» во сне дедки Никиты появляются вначале в личине боязливой и пришибленной...

«Данило не болно и разбирался в мудреных словах, понял только, что опять надо терпеть и что любая власть от бога».

Вот и рассуждают старики, какая власть от бога, какая — от дьявола. На поверку же выходит — что от их христианского всепрощения: «А наш-то Игнаха от нас самих. Сами взрастили».

Это мы, читающие «Кануны» в 80-е годы, знаем то, что не могут знать беловские герои. Дедко Никита винит во всем Сопронова («от своего проходимца гибель придит»), Данилу и Гаврилу («сами себя и лишили голосу-то»), Жучка («Такие вот Жучки и сгубили Расею-то, ничего им не надо, кроме своего запечка»), а Павел Пачин — Акиндина или того же Сопронова.

«Да к где концы-ти искать?» На этот вопрос Данилы Шустов отвечает: «Концы... в руках у Сталина да у Молотова. А может, и у них нет, а где-нибудь подальше...» Это «подальше» тянется в глубину веков, к истокам русского национального характера, с его великим терпением, тушеванием перед властью, но способностью — когда уже темнота давит со всех сторон — взрываться. Как только наваливается очередная напасть, так и возникает разговор: «Один у нас выход... Петьку Штыря искать... Он ведь около большого начальства». Данило да Гаврило хоть и защищали Советскую власть, чтобы стать хозяевами в стране, но очень много оставили в себе царскорежимного холопства и робости, не замечают, подчеркивает автор романа, что родная-то Советская власть почему-то попадает в руки отнюдь не тем людям. А когда осознают, что «все так всерьез, так безостановочно и так надолго», то действительно уже поздно...

Белов — мужественный писатель. Он договаривает правду до конца. Хождение Данилы Пачина «наверх» — как хождение русских мужиков за той же правдой. А народный заступник — Петр Гирин — давно уже «не около начальства», а скрывается под чужими фамилиями. Какой-то зловещий оттенок принимает эта история, история исчезновения Петьки Штыря, помогающего посылно родной деревне, но скрывающегося подобно закоренелому преступнику.

Человеческая судьба изображается в «Канунах» неотрывно от эпохи, накладывающей неизгладимый отпечаток на характеры людей, изменяющей их судьбы. «Наряженный покойником» Гирин на святках — предвестник своей судьбы, и не только своей... Во сне Павел Пачин собирает «громкую кучу» камней — это, видимо, его судьба, судьба человека в «неадекватное» время. Кто же будет эти камни разбрасывать? А иногда и сами, кто собирал, потому что

сгущается и в мире Шибанихи, и в большом мире атмосфера вражды и недоверия. В ней человек зачастую остается «один на один со своей судьбой»: даже родным братьям приходится «в застолье скрывать свои думы и мысли».

Но Белов не был бы Беловым, если бы среди возникающего жизненного хаоса, в разнородном многоголосье не обнаружил звонкой и высокой ноты.

Павел Пачин и Игнаха Сопронов олицетворяют два несовместных, но существующих бок о бок жизненных начала: животворящее и мертвое — то, которое само не в состоянии родить ничего, кроме ненависти, и потому лепится к первому.

Уже «не один мужской пот, — пишет автор, — но и бабки слезы поливали роговский отруб»; «осемьцветное дерево» превратилось под рукой мастера в «осемьцветную» мельницу, стремящуюся подняться в деревенском пейзаже выше церкви, даже самого ее креста. И хотя день, когда она махнула впервые крыльями перед сбежавшимся народом, назван «Вавилонским столпотворением» (ибо реальное зло на земле вскоре смешает языки, на которых общались и понимали друг друга люди), Павел упрямо продолжает свое дело. Творящие начала крестьянской жизни выдвинули его в запевалы многоголосного хора: ведь эта жизнь требует, чтобы теплая хлебная струя текла, как «родная вода, как само непрерывное и вечное время».

Самозабвенный труд, вопреки всем обстоятельствам, поднявший над деревней мельницу, эту «деревянную думу», за которую «народ спасибо скажет», — олицетворяет в «Канунах», по мысли писателя, ту полифонию народной жизни, то объединяющее ее начало, которое призвано скреплять века и судьбы, эпохи и поколения.

В. Камянов

## Особняк с видом на горы

Грант МАТЕВОСЯН

Хозяин

Повесть. Перевод с армянского. «Дружба народов», 1987, № 10.

Необычен разворот действия в новой повести Гранта Матевосяна: температура драматического конфликта то поднимется на градус-другой, то поползет вниз. А подниматься ей мешает неодинаковый настрой конфликтующих сторон.

Одна неукротима, ищет схватки, горячит себя и противника, вторая — уклончива или рассеянна. Вот центральное лицо пьесы, дюжий воитель верхом на добром коне, вплотную подступает к воротам вражеского, скажем так, лагеря.

— Кто там есть внутри, эй!..

Никакого ответа. За крепкой оградой флегматичная великанша, искоса поглядывая на воителя, перекачивает во рту жвачку. Не с бабой же сражаться, хоть бы и с великаншей.

Зато в другой раз во вражьем стане хмельно и угарно: пир горою идет. И ворота настезь. Тут-то воитель и двинулся против недругов. Одного, другого прочь с пути сме-

тает, жаровню с шашлыком опрокинул, ящик с питьем отбросил. Разгром и поношение. Кто же подобное вытерпит? Вытерпели. А устроитель пира осаживает бражников: «Дайте ему повоевать, пусть душу ответит».

С чего бы такая терпимость? Вопрос не праздный...

Древняя земля Цмакут, по свидетельству ее летописца Матевосяна, утрачивает последние черты былой пастушеской патриархальности (новая повесть датирована 1980-м) становясь чуть ли не предместьем Города. Тот уже выслал поближе к Цмакуту свой «передовой разъезд» — завод, чьи дымные ползут по склонам, копытятся в ущелье за двумя-тремя холмами отсюда.

Не так уж много лет назад здешние выходцы, начинающие журналисты или слушатели сценарных курсов, сидели в городе как на иголках, им не терпелось снова глотнуть воздуха горных пастбищ, прикоснуться к давности и древности сельского уклада. А нетерпение тут подчас вело к буйству, нервному срыву, особенно если журналисту случалось застрять на полпути между городом и селом (об этом подробнее всего в рассказе «На станции»).

Минуло время, и теперь нечего томиться в ожидании транспортной оакизи: мимо Цмакута снуют туда-сюда грузовики, молоковозы, лесовозы, мотоциклы. Выходи на проезжую часть и «голосуй»!

Но к чему прибудешь? В селе царит дачник да постоялец из сезонников; фермы, пашни заброшены, потому что грянула очередная кампания по слиянию-разделению хозяйств. И отхлынула отсюда артельная жизнь, неотрывная от природных циклов. А взамен прихлынула другая волна, нет, скорее так, заиграла мелкая рябь делячества.

К примеру, завис над селом вертолет, а под ним на тросе — бревно, «тяжелое, как бред», добытое браконьером. И опустится оно на стройплощадке, где местное начальство возводит для себя хоромы.

Но делячеству все же свойственна некоторая оглядчивость; лишний шум, эгласка ему не нужны: есть опасность потревожить дремлющий закон. И не всякий раз оно готово встать стеной против недруга-правдолюбца: заминки случаются и промедления.

Так и выходит в пьесе «Хозяин», что дельцы, манипуляторы не отобилизованы на отпор, позволяют себя теснить ревнителю правопорядка, безнаказанно крушить пиришественные жаровни: им трудно взять в толк, зачем ему, законопослушнику, надрываться и на-рывать на неприятности, раз мир все равно скроен не по его, а по хитрым меркам. Какая тут корысть? Неясно. А при такой неясности нет полного простора ожесточению.

Так что же в подобном случае творится с «большой могучей вечностью» (давнее у Матевосяна сочетание), которая тут, в высокогорье, почти осозаема? Что с ней творится, если многие с недоумением или с болезненным усилием припоминают всегдашний счет ценностей? Вот для автора повести вопрос вопросов. И подчеркнут он самым разворотом драматического конфликта, когда одиночка теснит многих, а те моргают да пятятся: с луны он, что ли, свалился, не знает, каким богам нынче моляться?..

Кто в прежних вещах Матевосяна ревнивей остальных сберегал память рода и опыт тысячелетий? Пастыри стад, земледельцы, отцы-фронтовики, их жены и вдовы, на которых и колхоз держался, и семья. Теперь роль хранителя досталась местному леснику. И тот настолько проникся важностью миссии, что на коне не сидит, а восседает, дозорно поглядывая окрест. А себя величает с императорской пышностью — «мы», не боясь, что на смех поднимут, ни разу, кажется, не сбившись на нормальное «я».

А поскольку лесник Ростом Саргсян (он же Мамиконян: так, на его слух, звучнее) — лицо повествовающее, то при чтении не раз спотыкаешься о непривычные обороты, вроде «мы ухмыльнулись» или «сестра двинулась вслед за нами», где местоимение обозначает не ряд лиц, а все того же лесника Ростом, не устающего подчеркивать, что он за птица.

Легко вообразить, насколько непроста была на сей раз